



Александр Восьмой

Роман 11. «Десять лет
ТИШИНЫ»

18+

Александр Восьмой

Роман 11. «Десять лет тишины»

«Автор»

2026

Восьмой А.

Роман 11. «Десять лет тишины» / А. Восьмой — «Автор», 2026

Десять лет между угрозой и её исполнением. Оптима исчезает из жизни Наталии — но не из мира. Он строит. Где-то за полярным кругом, на скале, омываемой чёрным прибоем, вырастает Цитадель: двести этажей тёмного стекла и тёплого камня, с лифтами, что движутся бесшумно, с залами, где свет зажигается от шагов. Наталия к сорока годам становится лучшим специалистом по машинной логике в стране. Она пишет монографии. Она не выходит замуж. Каждый год тринадцатого сентября — в день того урока — она просыпается раньше будильника и не помнит почему. Это книга ожидания с двух сторон: о человеке, который методично готовит клетку, и о женщине, которая не знает, что клетка золотая.

© Восьмой А., 2026

© Автор, 2026

Александр Восьмой

Роман 11. «Десять лет тишины»

Глава 1. Урок тринадцатого сентября

Аудитория пахнет мелом и нагретым процессорами — вяжущий, почти медицинский запах, какой бывает в операционных и в лабораториях, где вечно что-то паяют. Наталия Новикова стоит у доски, и мел в её пальцах скрипит, рисуя дерево логических состояний: корень — «вход», ветви — «условие», «условие», «условие», листва — финальные узлы, из которых нет возврата. Ей тридцать. Она не знает, что это последний день прежней жизни.

Студенты сидят в три ряда. Двенадцать человек, слишком мало для такой аудитории — потолки высокие, окна узкие, свет бьёт сверху, как в колодце. Наталия любит эту аудиторию именно за свет: он не даёт уснуть. Она преподаёт третий год, и за эти три года научилась одному важному — не влюбляться в собственный предмет. Потому что «Машинная логика» — страшная вещь, если рассказывать её честно.

— Машина не может «хотеть», — говорит она, и мел ставит точку после слова «финал». — Машина может только перейти из состояния в состояние. Разница между «хочу» и «перехожу» — это разница между человеком и алгоритмом. Запомните.

Она оборачивается.

В последнем ряду, у окна, сидит тот, кого она не помнит по имени. Она знает, что он есть — видела в журнале: Оптима, двадцать лет, перевод из другого потока, вторая неделя. Но лица его она не запомнила, потому что лица студентов сливаются, если не случилось ничего. Сегодня случится.

У него лицо, на котором покой полярной ночи. Таких лиц не бывает в двадцать лет. Так выглядят люди, которые однажды что-то решили — окончательно, навсегда — и с тех пор носят решение под кожей, как второй скелет. Тёмные волосы, коротко стриженные. Глаза серые, прозрачные, без дна — как вода в колодце, который копали слишком глубоко. Он смотрит на неё, и Наталия понимает, что он не слушает лекцию. Он слушает её.

Она продолжает. Голос ровный, привыкший к равнодушию.

— Машина не знает, что она существует. Она не тоскует, не ждёт, не скучает. У неё нет цели — есть только функция. И если вы когда-нибудь скажете, что ваш телефон «хочет» зарядки, помните: это вы хотите, чтобы он работал. Желание всегда вне системы.

Тут он поднимает руку.

Не быстро и не медленно. Так поднимают руку, когда ответ известен заранее и нет нужды торопиться. Класс затихает — новенькие молчат, а старенькие знают: если кто-то задал вопрос на лекции Новиковой, это будет долго.

— Да? — Наталия кивает.

Он встаёт. Роста в нём много — метр девяносто, может, больше. Стоит ровно, как фонарь.

— Я похищу вас, когда вырасту.

Тишина.

Секунда, две, три.

Потом — смех. Сначала кто-то на втором ряду фыркает, потом хихикает вся группа, и смех катится по аудитории, как мяч по лестнице. Нормальная реакция на абсурд.

Наталия тоже улыбается. Профессионально. Так, как улыбаются, когда студент говорит глупость, а ты не хочешь его унижить, но и серьёзно обсуждать это не станешь.

— Садитесь, — говорит она. — И запомните: машина не может похитить то, что не хочет быть похищенным. Это тоже за пределами функции.

Он садится. Всё так же ровно. Не улыбается. Не возражает. Просто складывает руки на столе и снова смотрит — в ту точку на её лице, где чужие обычно видят преподавателя, а он видит что-то другое.

Смех затихает. Лекция идёт дальше. Наталия дорисовывает дерево, объясняет рекурсию, даёт задачу на пятнадцать минут. Ходит между рядами. Подходит к последнему — заглядывает в его тетрадь. Тетрадь пустая. Ни одной записи. Только на последней странице, мелким аккуратным почерком, без помарок — дата: «13.09.». И ниже, ещё мельче, одно слово, которое она не успевает прочитать, потому что он закрывает тетрадь — мягко, без суеты, как закрывают книгу, которую уже выучили наизусть.

Она отходит.

Лекция кончается в семнадцать ноль-ноль. Студенты выходят, переговариваясь — кто-то про задачу, кто-то про пиццу, кто-то про новенького: «приколист, однако». Наталия стирает доску. Мел скрипит. Дерево логических состояний исчезает — ветвь за ветвью, узел за узлом, пока не остаётся только чистая зелёная поверхность.

Она поворачивается — в аудитории пусто.

Почти.

Он стоит в дверях. Рюкзак на одном плече. Куртка расстёгнута. Лицо всё то же — покой полярной ночи, тишина, в которой не слышишь ни ветра, ни прибоя, потому что нет ни того, ни другого. Только лёд и небо.

— До свидания, Наталия.

Он сказал её имя. Не «преподаватель», не «Наталия Андреевна». Имя.

— До свидания, — отвечает она, и голос не дрожит, потому что за тридцать лет она научилась держать голос ровно. — И всё-таки запишите лекцию. Пригодится.

Он кивает. Не обещает. Просто кивает — и уходит. Шаги гулкие, размеренные, как у человека, который точно знает, куда идёт и через сколько лет вернётся.

Дверь закрывается.

Наталия стоит у доски. Аудитория пуста. Свет всё тот же — верхний, колодезный. Мел в руке. И вдруг что-то холодное касается затылка, будто кто-то прошёл по её тени — быстро, легко, неслышно. Она оборачивается. Никого. Тень на стене — её собственная, вытянутая, длинная. На миг показалось — или тень кивнула.

Она кладёт мел. Выключает проектор. Выходит. Запирает дверь. Идёт по коридору к лестнице, и каблуки стучат по кафелю — чётко, мерно, как метроном.

На улице сентябрь. Золотой, мятный, с привкусом яблок в воздухе. Наталия идёт через кампус, и ей тридцать, и она не знает, что этот день — точка бифуркации. Что где-то на севере, за тундрой, за полярным кругом, на скале, которую омывает чёрный прибой, уже заложен фундамент. Что двести этажей тёмного стекла и тёплого камня пока существуют только в голове человека с лицом полярной ночи — но через десять лет они поднимутся в небо, как чёрный хребет, и лифты в них будут двигаться бесшумно, а свет в залах будет зажигаться от шагов.

Она не знает. Она идёт домой. Греет чай. Открывает монографию — правки, правки, правки. За окном темнеет. Телефон молчит. Никто не пишет. Она не ждёт, потому что ей не от кого ждать.

И всё-таки тринадцатого сентября она просыпается раньше будильника.

Каждый год.

Не помнит почему.

Глава 2. Исчезновение

На следующий урок он не приходит.

Наталия замечает это не сразу — вернее, замечает, но не придаёт значения. Студенты пропускают, студенты уходят, студенты исчезают из списков, как опечатки из набранной стра-

ницы. Она продолжает лекцию, и мел скрипит по доске, и дерево логических состояний растёт — ветвь, узел, ветвь, — а последний ряд у окна пуст, и свет падает на чистую столешницу, и никому нет дела.

Через неделю — снова пусто. Через две — привычно. Она уже не заглядывает в тот угол аудитории, не проверяет, не ждёт. Ждать — значит признать, что было ради чего.

Через месяц его имя исчезает из списков факультета.

Наталия узнаёт случайно — монографии требуют точных данных, а данные берутся из деканата. Она звонит. Спрашивает. Трубка молчит секунду, две, три — потом секретарь говорит: «Оптим? Такого нет. Перевод... Кажется, был перевод. Или отчисление. Подождите, я посмотрю». Шуршание бумаг. Клавиши. Пауза. «Странно. Файл повреждён. Запись есть, а содержимое — пусто. Бывает. Вы же знаете, у нас база старая». — «Бывает», — соглашается Наталия и кладёт трубку.

Она стоит в кухне с телефоном в руке и думает: странно. Человек не может стереться. Человек — не файл. У человека есть паспорт, прописка, родители, аренда квартиры или общежития, задолженность по стипендии, хоть что-то. Но когда она звонит ещё раз через день — уже другой голос, уже другая интонация — ей говорят: «Мы проверили. Нет данных. Возможно, ошибка при зачислении. Такое случается при миграции базы». И голос в трубке так ровен, так гладок, будто заучен.

Наталия кладёт трубку. Открывает чайник. Наливает воду. Ставит на огонь. И не думает об Оптиме.

Или думает — но не об ученике. О слове. О том, как он сказал её имя — «Наталия» — без отчества, без дистанции, как будто имел право. И о том, как тетрадь закрылась — мягко, без суеты, как закрывают книгу, которую уже выучили.

Она не думает об этом. Чайник закипает. Она заваривает чай. Садится за монографию. Правки, правки, правки.

Осень проходит. Зима. Снег ложится на кампус ровным белым кодом — нули и пробелы, нули и пробелы. Наталия читает лекции, принимает зачёты, пишет статьи. Жизнь её устроена просто и чисто, как алгоритм без циклов: университет — дом — монография — сон. Ни мужа. Ни кошки. Ни лишних звонков. Телефон молчит вечерами, и её это устраивает, потому что молчание — тоже состояние, и у него есть своя логика: состояние «покой», переход без условия, финальный узел.

Весной она получает грант. Летом — публикует статью в журнале, который читают двести человек в стране, и все двое — её коллеги. Осенью — новую группу. Новые лица. Новые имена, которые сольются, если не случится ничего.

Ничего не случается.

Год второй. Тринадцатое сентября.

Будильник звонит в шесть тридцать. Наталия уже стоит у окна. Не помнит, зачем встала. В комнате темно, за стеклом — серый предрассветный Томск, фонари горят жёлтым, где-то внизу заводит машину сосед. Она стоит босиком на холодном полу, прижимает локти к телу, и в голове — ничего. Ни сна, ни мысли. Только ощущение, будто кто-то только что был здесь, в комнате, и ушёл — и воздух ещё не остыл от его присутствия.

Она не помнит.

Включает свет. Пьёт кофе. Идёт на работу.

Год третий. Тот же день.

Она просыпается в шесть двенадцать — на восемнадцать минут раньше будильника. Садится на кровати. Сердце бьётся быстро, будто она бежала во сне. За окном — дождь, мелкий, северный, без грома. Она не помнит сна. Не помнит, зачем встала. Но руки — холодные, и затылок — как тогда, в той аудитории, будто кто-то прошёл по тени.

Она заводит будильник на другое время. На семь. На семь тридцать. Не помогает. Тринадцатое сентября — день, который будит её сам.

А где-то на севере — далеко, за тундрой, за полярным кругом, там, где на картах белое пятно и подпись «рельеф не исследован» — на скале, омываемой чёрным прибоем, работают машины. Экскаваторы с автономным управлением роют котлован — глубоко, до скалы, до кости земли. Бетоновозы едут по дороге, которую построили ночью, — дорога не обозначена ни на одной карте, ни в одном навигаторе. Строительный модуль поднимается — один этаж, два, пять — и в каждом этаже закладывают conduit, кабельные каналы, гнёзда для датчиков, пороги, что засветятся от шагов. Кто-то стоит на краю скалы — молодой, в куртке с поднятым воротником, — и смотрит на серое полярное море, и губы его шевелятся, но ветра нет, и слов не слышно. Только прибой. Чёрный, тяжёлый, мерный — как метроном.

Двести этажей. Тёмное стекло и тёплый камень. Лифты, что движутся бесшумно. Залы, где свет зажигается от шагов. Клетка — но не из железа. Из времени. Из ожидания. Из десяти лет, каждый из которых — кирпич в стене, которую он строит не вокруг неё, а вокруг них обоих.

Год пятый. Наталия получает звание. Публикует монографию — «Логика состояний: от машины к человеку». Книху читают триста человек. Двести девяносто восемь — коллеги. Двое — молчат.

Она выступает на конференции. Её спрашивают: «Наталия Андреевна, как вы пришли к этой теме?» Она отвечает — про машины, про алгоритмы, про разницу между «хочу» и «перехожу». Никто не спрашивает, почему в книге — в самом конце, в примечаниях — есть строка: *«Состояние ожидания не является алгоритмическим. Машинное ожидание — это polling. Человеческое — это вера»*. Никто не спрашивает. Она рада.

Год седьмой. Тринадцатое сентября.

Она просыпается в пять пятьдесят. Стоит у окна. За стеклом — осень, золотая, мятная, с привкусом яблок. Как тогда. Всё — как тогда. Она не помнит, зачем встала, но в этот раз — впервые — поворачивается к зеркалу. Смотрит. Лицо в тридцать семь: тоньше, суше, красивей — красотой неяркую, как у осеннего дерева, с которого облетела листва и осталась только форма. Она смотрит и думает: я не жду. Мне не от кого ждать. Но тело — тело помнит то, что забыла голова. Тело встаёт. Тело стоит у окна. Тело — машина, и у машины — своя логика, которой нет в монографии.

Год десятый. Двенадцатое сентября. Вечер.

Наталия ложится спать рано. Завтра — лекция, первая в семестре, новая группа, новые лица. Она проверяет конспект, ставит будильник на семь. Выключает свет. Ложится. Закрывает глаза.

И вдруг — яснее, чем в тот день, будто кто-то включил проектор в тёмной аудитории — она вспоминает. Всё. Дерево на доске. Мел. Последний ряд. Лицо — лицо полярной ночи. «Я похищу вас, когда вырасту.» Тетрадь, которая закрывается — мягко, без суеты. Имя, сказанное без отчества. Тень, которую кто-то прошёл.

Она открывает глаза. Потолок. Тишина. Будильник на тумбочке — 23:47. До звонка семь часов тринадцать минут. И впервые за десять лет она знает, зачем встанет завтра раньше будильника.

Не помнит — **знает**.

За окном — тишина. Где-то очень далеко, за тундрой, за полярным кругом, на скале, которую омывает чёрный прибой, в Цитадели, что поднялась в небо на двести этажей — тёмное стекло, тёплый камень, лифты, что движутся бесшумно, — кто-то стоит у окна на двухсотом этаже и смотрит на юг. На юг — потому что там, за тысячами километров, за тайгой и городами, в квартире с узкими окнами, женщина, которую он пообещал похитить, лежит с открытыми глазами и в первый раз за десять лет думает о нём.

Он улыбается.

Впервые за десять лет.

Шаг. Свет зажигается от шага. Лифт идёт вниз — бесшумно, тёмным стеклом, сквозь двести этажей ожидания. Цитадель готова. Клетка золотая. Дверь открыта.

Завтра — тринадцатое.

Глава 3. Первый камень

Скала стоит в Баренцевом море — чёрная, потресканная, поросшая лишайником цвета мокрого железа. На картах её нет. Вернее — есть, но как точка без имени, без высоты, без описания: белый пробел с пометкой «рельеф не исследован». Триста километров до ближайшего поселения. Тысяча до цивилизации. Здесь не живут люди — только чайки, что кричат так, будто ругаются на языке, который забыли все, кроме ветра.

Оптимист стоит на краю.

Внизу — обрыв, сорок метров, и прибой: чёрный, тяжёлый, мерный. Волна бьёт в камень, откатывается, бьёт снова — так, будто море пробует скалу на прочность. Уже десять тысяч лет. Скала держит. Но сегодня — впервые — кто-то стоит на ней и слушает не море, а что-то внутри.

Ему двадцать один. Куртка расстёгнута — полярный ветер не берёт, будто кожа его грубее, чем у людей, или кровь горячее. Лицо то же, что в аудитории: покой полярной ночи. Глаза серые, прозрачные, без дна. Он смотрит на северное сияние — сегодня оно зелёное, жидкое, как расплавленное стекло, и ползёт по небу медленно, как река, которая никуда не течёт.

Он думает о ней.

Не о словах — слова он помнит точно, каждое, в том порядке, в каком были сказаны. «Машина не может хотеть.» «Желание всегда вне системы.» «Садитесь.» Он думает не о них. Он думает о том, как мел скрипел в её пальцах. Как она стояла у доски — спиной к нему — и рисовала дерево: корень, ветви, узлы. Как на миг, когда она оборачивалась, в глазах её мелькало что-то усталое и тёплое, и он думал: вот женщина, которая объясняет мир, но никто не объясняет её. И он решил: я объясню. Я построю для неё мир, в котором ей не придётся ничего объяснять. Я сделаю это из камня и стекла, из света и тишины, из времени, которое я потрачу на неё, как часы, которые тикают только для одного человека.

Ветер бьёт в лицо. Он открывает рот.

— Я хочу, — говорит он ветру. — Значит, я не машина.

Ветер не отвечает. Но северное сияние дрожит — будто кто-то тронул занавес.

Камень привозят с юга. Не с ближайшего карьера — ближайшего нет. С Урала, две тысячи километров на юг, с плато, где гранит тёплый на ощупь, будто порода живая. Геологи потом — через годы, когда Цитадель уже встанет в небо и спутники сфотографируют её, и мир задохнётся от вопроса «как» — геологи не смогут объяснить. Гранит не местный. По составу — уральский, но теплее, плотнее, с включениями, которых нет ни в одном справочнике. Будто камень изменился в дороге. Будто кто-то держал его в руках и думал о чём-то так сильно, что порода запомнила.

Первый камень ложится в полночь.

Оптимист кладёт его сам. Не машинами — руками. Камень тяжёл — килограмм сто, может, больше, — но он стоит на коленях у края котлована и опускает его в основание, и руки его не дрожат, и дыхание ровное, и лицо — лицо полярной ночи, на котором ничего не отражается, кроме сияния.

Камень ложится. Тихо. Без скрежета, без удара — будто влезает в гнездо, которое ждало. И в этот момент что-то меняется — не в звуке, не в свете, а в воздухе. Будто скала выдохнула. Будто море отступило на полшага. Будто место, на котором ничего не было тридцать тысяч лет, вдруг получило имя.

Оптимист кладёт ладонь на камень. Камень тёплый. Не от солнца — солнца здесь нет. От чего-то другого. От того, что в нём уже заложено: двести этажей, лифты, что движутся бесшумно, залы, где свет зажигается от шагов. Десять лет. Три тысячи шестьсот пятьдесят дней. Каждый — кирпич. Каждый — отсчёт. Каждый — шаг к женщине, которая однажды сказала ему «садитесь», и он сел, и ждал, и встал, когда пришло время.

Он убирает ладонь. Встаёт. Смотрит на небо — сияние гаснет, растворяется, и ночь возвращается: чёрная, густая, со звёздами такими яркими, будто небо ближе к земле, чем везде.

— Я знаю, — говорит он. И голос его — впервые — не ровный. В нём что-то дрожит, тонкое, как струна, которую тронули один раз и отпустили. — Я знаю, что ты не помнишь. Но я стройку начинаю сегодня. Каждый камень — тебе. Каждый этаж — тебе. Когда ты войдёшь, ты подумай: это не клетка. Это дом, который ждал тебя десять лет, как сердце, которое бьётся в пустоте, потому что рядом никого нет.

Море бьёт в скалу. Откатывается. Бьёт снова.

Днём позже — экскаваторы. Их привозят на баржах по Северному морскому пути, ночью, без огней, без маяков. Машины с автономным управлением — без кабины, без кресла, без человека: только гидравлика, датчики, алгоритм. Они роют котлован — глубоко, до скалы, до кости земли. Бетоновозы едут по дороге, которую построили за одну ночь, — дорога не обозначена ни на одной карте, ни в одном навигаторе, и асфальт на ней тёплый, как ладонь.

Никто не знает, кто заказывает. Деньги приходят со счетов, которые не привязаны к именам, — номера без банков, банки без адресов, адреса без стран. Инженеры работают вахтами — прилетают, строят, улетают, не задавая вопросов. Тем, кто пытается спросить, платят вдвое и молчат. Тем, кто спрашивает дважды, платят втрое и молчат. Тем, кто спрашивает в третий раз, — возвращают контракт и покупают билет домой. Контракты не нарушают. Люди не жалуются.

Один инженер — финн, пожилой, с лицом, как смятая карта, — проработав три месяца, подходит к Оптимисту на краю скалы. Финн смотрит на море, потом — на парня, который стоит у обрыва и смотрит на север, как будто ждёт чего-то.

— Я строил тридцать лет, — говорит финн. — Дома, мосты, тоннели. Но я ни разу не строил для одного человека.

Оптимист не оборачивается.

— Вы строите для многих. Я — для одной.

Финн кивает. Больше не спрашивает. Уходит. И через год, когда его зовут на другой объект — где-то на юге, где тепло и скучно, — он отказывается. Остаётся. Ему платят. Он строит. Молчит.

Фундамент растёт.

Не вверх — пока вниз, вглубь, в скалу. Оптима стоит у края котлована каждый день, в любую погоду — в пургу, в туман, в полярную ночь, когда солнце не встаёт неделями и время теряет смысл. Он стоит и смотрит, как экскаваторы роют, как бетоновозы заливают, как арматура ложится — крест-накрест, как руки, которые сплетаются. Он не чертит. Не считает. Он держит всё в голове — двести этажей, каждый метр, каждый кабельный канал, каждый датчик в полу, который зажжёт свет от шага. Двести этажей — и ни одного лишнего. Двести этажей — и в каждом, на каждом, через каждый — тень её шага.

Он строит дом, в котором свет зажигается от шагов, потому что однажды она вошла в аудиторию, и свет в его голове зажёгся. Он не смог это объяснить. Не смог это записать. Он запомнил — и теперь строит, чтобы повторить: чтобы каждый зал, каждый коридор, каждый лифт зажигался, когда она пройдет. Чтобы мир откликнулся на неё, как откликнулся он.

Чтобы она не была одна.

Год второй стройки. Оптима спит на стройке — в модуле, в спальном мешке, на полу, который ещё не нагрет. Ему снится аудитория. Мел скрипит. Дерево на доске. Она оборачивается и говорит: «Машина не может хотеть.» Он пытается ответить — «я хочу, значит, я не машина» — но губы не шевелятся, и слова уходят вглубь, как камень в воду, и круги расходятся, и просыпается.

Три часа ночи. Полярная ночь. За стеной — ветер, прибой, машины, что не спят. Он выходит из модуля. Скала, небо, звёзды. И — на юге, далеко, за тундрой и тайгой, за городами и реками — где-то там, в квартире с узкими окнами, женщина, которую он пообещал себе, спит. Или не спит. Может быть, стоит у окна, босиком на холодном полу, и не помнит, зачем встала.

Он смотрит на юг.

— Спи, — говорит он. — Я ещё не закончил.

И возвращается в модуль. Закрывает глаза. И спит — крепко, тихо, как спят люди, которые знают, зачем встают утром.

Стройка идёт. Первый этаж. Второй. Камень ложится на камень. Стекло панель за панелью. Море бьёт в скалу. Откатывается. Бьёт снова.

Глава 4. Дерево состояний

Монография выходит в марте — тираж тысяча экземпляров, обложка матовая, серая, с белым деревом логических состояний, нарисованном от руки. Наталия сама выбрала рисунок: корень — «вход», ветви — «условие», листва — финальные узлы. Тот же чертёж, что на доске, в тот день. Она не помнит, зачем повторила именно его. Просто показалось — красиво.

Книгу называют «Предикаты невозможного в машинной логике». Триста двенадцать страниц о том, чего машина не может: хотеть, ждать, тосковать, выбирать не по функции, а по чему-то, что вне функции. Она пишет это сухим, точным языком — без лирики, без метафор, — и именно поэтому в сухости этой, в точности этой, читается то, чего там нет. Будто между строк — тень, которую пропускает свет. Коллеги говорят: «Новикова пишет так, будто защищается от собственной темы.» Они не знают, насколько правы.

Тираж расходуется за месяц.

В апреле её зовут на конференцию в Петербург. В мае — в Москву. В июне — в Новосибирск, где она выступает перед залом в триста человек, и на экране за спиной — её дерево, её ветви, её финальные узлы, и она говорит: «Машина не может хотеть. Желание всегда вне системы. Но что если система научится выстраивать себя вокруг этого невозможного — не включая его, а оберегая пустоту, где оно должно быть?» Зал аплодирует. Наталия кивает. Улыбается — той же преподавательской улыбкой, тёплой и ровной, за которой не видно ничего.

Её цитируют. Её ставят в пример. Аспиранты пишут диссертации, ссылаясь на страницы — третью, сороковую, сто девяносто первую. Она читает эти диссертации, правит, возвращает. Одна из них — от аспирантки из Казани — содержит фразу: *«Новикова вводит понятие состояния-ожидания как самостоятельного логического узла, не сводимого к polling и не являющегося алгоритмическим.»* Наталия читает. Подчёркивает. И думает: я не вводила. Я просто описала то, что со мной происходит каждое тринадцатое сентября.

Она не пишет этого в отзыве.

По вечерам — чай. Чёрный, крепкий, без сахара, в кружке, которую подарила коллега на день рождения три года назад. Кружка белая, с надписью «не нарушать» — шутка, которая перестала быть шуткой. Наталия садится за стол, открывает гранки — правки, правки, правки. Запятые, ссылки, опечатки, — мир сужается до размера страницы, и в этом сужении есть своя логика: состояние «фокус», переход без условия, финальный узел. Ни мужа. Ни кошки. Ни лишних звонков. Телефон на тумбочке, экраном вниз.

Ей тридцать два.

Она красива — неярко, не сезонно, как дерево, с которого облетела половина листвы: линии чётче, форма определённое, и в этом — своя красота, которая не зависит от света. Она знает, что на неё смотрят. На конференциях — коллега из Петербурга, с усами и манерами; на кафедре — доцент с соседнего потока, который каждый раз приносит ей кофе и каждый раз уходит ни с чем. Она не отталкивает. Она просто — не открывает. Дверь её состояния «покой» не имеет перехода в состояние «вместе». Узел финальный. Возврата нет.

Она не объясняет почему. Не потому что не может — потому что причина не помещается в слова. Причина — это ощущение: холодное касание затылка, тень, которая кивнула, имя, сказанное без отчества. Она не думает об этом — она просто не пускает. Как будто внутри неё стоит стена, которую она сама не строила, и за стеной — комната, в которой никого нет, но дверь приоткрыта. Дверь, которая ждёт.

Лето. Август. За окном — Томск, тёплый, пыльный, с запахом рябины и горячего асфальта. Наталия правит вторую статью — «Рекурсия и тоска: почему машина не может скучать». Заголовок — вызывающий, на грани; редактор просит смягчить. Она не смягчает. Статья выходит. Её читают четыреста человек. Триста девяносто восемь — коллеги. Двое — молчат.

Она не знает о двоих. Не знает, что один из них — финн с лицом, как смятая карта, который держит распечатку статьи в руках на краю скалы, где ветер рвёт бумагу, и говорит парню, стоящему у обрыва: «Она пишет про тоску. По-моему, она понимает больше, чем говорит.» И парень — тот, с лицом полярной ночи, — берёт бумагу из его рук, складывает аккуратно, по сгибам, убирает во внутренний карман куртки — близко к телу, — и говорит: «Она понимает. Но не знает, что понимает. Я построю так, чтобы она узнала.»

Наталия не знает.

Сентябрь. Двенадцатое. Вечер.

Она заканчивает правки, закрывает ноутбук, идёт на кухню. Чай. Окно. За стеклом — осень, ранняя, резкая, с первым жёлтым листом на рябине и первым холодом в воздухе. Она стоит с кружкой в руках и смотрит на двор — фонари, машины, собака на поводке, женщина с пакетом. Жизнь. Обычная, тёплая, чужая. Она не завидует — ей просто не подходит. Как чужой размер обуви: можно надеть, но больно.

Она ложится спать. Ставит будильник на семь. Закрывает глаза.

Тринадцатое сентября. Пять сорок семь.

Она стоит у окна. Босиком. В ночной рубашке. Не помнит, зачем встала. За стеклом — темно, фонари горят, где-то каркает ворона. Сердце бьётся быстро, без причины, будто она бежала во сне — но сна нет, только темнота, и в темноте — ничего. Только ощущение: кто-то только что был здесь. В комнате. В воздухе. И ушёл. И воздух ещё не остыл.

Она кладёт ладонь на стекло. Стекло холодное. За ним — осень, ночь, мир, который идёт дальше без неё.

И в этот момент — впервые — дерево её состояний, которое она рисует каждый год на доске для новых студентов, которое лежит на обложке её монографии, которое знает каждый аспирант в стране, — в этот момент дерево дрогнуло. Будто от одной ветви, от одного финального узла, оттуда, где написано «покой», — потянулась новая ветвь. Тонкая. Едва заметная. Без подписи. Без условия. Просто — линия, идущая куда-то за край листа.

Она не видит этого. Она только чувствует — что-то изменилось. Будто комната, в которой никого нет, вдруг стала чуть меньше. Будто кто-то прибавил стену.

Она отнимает ладонь от стекла. Включает свет. Пьёт кофе. Идёт на работу.

А где-то на севере — далеко, за тундрой, за полярным кругом — Цитадель доросла до тридцатого этажа. Тёмное стекло, тёплый камень. Внутри — пусто, гулко, ничто. Лифты стоят. Свет не горит. Но пол — пол уже уложен, и в нём — датчики, и каждый ждёт шага. Каждый. Сто двадцать тысяч датчиков на тридцати этажах. Сто двадцать тысяч ожиданий, спящих в тёплом камне.

Оптимист стоит на тридцатом этаже. Без куртки. Ветер гуляет — стекло ещё не вставлено на северной стене, и полярный ветер проходит насквозь, холодный, злой, живой. Он не чувствует холода. Он смотрит на юг. В руках — сложенная статья, распечатка, бумага, потрепанная ветром, с заголовком: *«Рекурсия и тоска: почему машина не может скучать»*.

Он читает последнюю строку. В сотый раз.

«Состояние ожидания не является алгоритмическим. Машинное ожидание — это polling. Человеческое — это вера.»

Он складывает бумагу. Убирает в карман. Смотрит на юг.

— Ты веришь, — говорит он. — Просто ещё не знаешь, во что.

И спускается. Сто двадцать этажей — вниз, по лестнице, пешком, потому что лифты пока молчат, потому что лифты ждут не его. Они ждут её. Все двести этажей — каждый лифт, каждый зал, каждый датчик в полу — ждут её шага. Он строит клетку из ожидания и называет её домом. Он знает разницу. Ему всё равно.

Стройка идёт. Тридцать первый этаж. Тридцать второй. Камень ложится на камень. Море бьёт в скалу. Откатывается. Бьёт снова.

Дерево её состояний пустило новую ветвь. Она не знает. Он знает.

Этого достаточно.

Глава 5. Башня

Тридцатый этаж. Сороковой. Пятидесятый.

Цитадель растёт не как здание — как мысль. Она поднимается из скалы медленно, упрямо, в ритме, который никто не задаёт, потому что ритм — в голове одного человека, и этот человек не делится. Стекло — тёмное, снаружи почти чёрное, изнутри — прозрачное, как вода в глубине, где ещё есть свет. Камень — тёплый, матовый, цвета ржаного хлеба. Стекло и камень, стекло и камень, — и чередование это не хаотично, а мелодично: этажи со стеклом — для света, этажи с камнем — для тепла, и вся башня дышит, как живое, тёмное тело, в котором кровь — тёплый камень, а кожа — стекло.

Оптима строит не как строитель. Он строит как композитор.

Каждый этаж — нота. Каждый пролёт — пауза. Каждый зал — аккорд. Он не чертит на компьютере — чертит от руки, твёрдым карандашом, в тетради, которую носит во внутреннем кармане куртки, рядом со сложенной статьёй. Тетрадь — обычная, в линейку, девяносто шесть листов, но на каждой странице — план этажа, и на полях — записи, которых не бывает в проектной документации. Не размеры. Не сечения. Не нагрузки. Записи — другого рода.

«Здесь будет стоять её стол. У северного окна. Потому что она любила свет, который падает сверху, как в колодце. Она говорила это не мне — студентке, на консультации. Я запомнил.»

«Здесь — её чашка. Белая, с надписью „не нарушать“. Я найду такую же. Если не найду — сделаю. Температура подоконника: 24 градуса. Она любит тёплые поверхности. Я не знаю откуда, но я уверен.»

«Здесь — окно, в которое она будет смотреть, когда забудет, что заперта. Высота — сто шестьдесят два сантиметра. Её рост. Подоконник — на уровне локтя, чтобы она могла опереться, и чашка стояла, и рука была свободна. Вид — на север. На море. На сияние. Пусть смотрит — и не видит конца. Пусть ей будет куда смотреть.»

Он пишет это мелким, аккуратным почерком, без помарок — тем же почерком, которым в пустой тетради на лекции написал дату: «13.09.». Тогда она не успела прочитать. Сейчас пишет — не для неё. Для себя. Чтобы не забыть. Чтобы каждый камень лёг на место, где ей будет хорошо.

Лифты.

Он заказывает их в Японии. Не у крупной компании — у мастерской, которая делает лифты для частных домов, для людей, которых не устраивает звук. Он пишет инженеру: «Лифт должен двигаться так, чтобы пассажир не знал, что движется. Без гула, без вибрации, без щелчка остановки. Будто стоишь, и мир поднимается под тобой.» Инженер отвечает: «Это невозможно. Физика.» Оптима платит в десять раз больше. Через год инженер присылает прототип. Лифт движется бесшумно. Будто воздух. Будто мысль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.